

УДК 882.091

**ДИАЛОГ «СВОЕГО» И «ЧУЖОГО» В АМЕРИКАНСКИХ  
ВПЕЧАТЛЕНИЯХ В.Г. КОРОЛЕНКО***В.Н. Крылов***Аннотация**

Статья посвящена анализу художественных и документально-публицистических произведений В.Г. Короленко, объединённых американской темой. В качестве материала привлекаются как опубликованные, так и не изданные при жизни писателя тексты. Проведённый анализ позволяет видеть в текстах В.Г. Короленко не просто этнографические путевые очерки, а глубокие размышления о двух образах мира – русском и американском, содержащие оценку темпов технического прогресса, идеалов свободы, уважения к личности, отношение к прагматизму, индивидуализму. Исследование показывает, что образ Америки предстаёт в творчестве В.Г. Короленко более объёмным и неоднозначным, чем принято считать для представителя критического реализма. Делается вывод о том, что для В.Г. Короленко впечатления о поездке на выставку в Чикаго в 1893 г. стали основой и для последующего творчества, вплоть до конца жизни.

**Ключевые слова:** диалог, национальное, путевой очерк, Россия, Америка, В.Г. Короленко, свобода, справедливость.

Хорошо известна такая особенность русской литературы конца XIX – начала XX в., как экстенсивность художественного сознания, проявившаяся в расширении «географии», то есть круга изображаемой действительности и мира персонажей разного социального, профессионального статуса. В связи с творчеством К.Д. Бальмонта исследовательница Л.А. Колобаева писала: «Безудержный мировой “аппетит” движет и поэзией Бальмонта. Его лирический герой – некий блуждающий дух, который стремится заговорить на всех языках, увидеть все города земли, все страны, приблизиться к тайне разных культур, услышать “звон всех времён и пиров”. Он – вечный путник, скиталец. И всё это определяет одну из ключевых особенностей его художественной системы – экстенсивность образного освоения мира, пространственную и временную экспансию его поэтического воображения, путешествующего по всей планете. Об этом говорят уже сами названия многих его “путевых” стихотворений: “Египет”, “Исландия”, “Бретань”, “Индийский мотив”, “Воспоминание о вечере в Амстердаме”, “Испанский цветок”, “В Венгрии, в старом костёле приходском...”, “Мексиканский вечер”, “Литва и Латвия, Поморье и Суоми...”, “На Макарийских островах...” и др. <...> Подобная экстенсивность образной системы, пространственная и временная, вселенский “аппетит” поэтической фантазии не случайны в русской поэзии рубежа веков, как и во всей европейской культуре к концу XIX столетия. Во всём этом угадывается предвестие нового литературного века,

тот момент истории, когда Запад вспомнил о Востоке, а Восток потянулся к Западу, когда поэты уловили потребность человечества представить, обозреть, осознать себя в целом» [1, с. 204–205].

Процесс расширения пространственных рамок литературы охватывал не только зарождающийся на русской почве модернизм, но и традиционный реализм. Для писателя рубежа веков (независимо от направления и течения) становится главным желание увидеть всё воочию, почувствовать жизнь, почерпнуть достоверные, непосредственные знания. Поэтому реальным фактом становятся не только странствия М. Горького – из-за житейской неустроенности, поиска работы, но и «университеты» А.И. Куприна и известное его желание всё попробовать (он с рыбаками ходил в море, поднимался на воздушном шаре в небо, опускался с водолазами на дно, летал на аэроплане). В этом контексте нужно рассматривать и поездку А.П. Чехова на Сахалин, и страсть к путешествиям у И.А. Бунина, который писал: *Я человек; как бог, я обречён / Познать тоску всех стран и всех времён* (СП, с. 267).

Для русского реализма одной из самых острых тем становится тема России, её исторического своеобразия, её будущего. «В той или иной мере тема эта, – пишет О.В. Сливичкая, – будет затронута во всех крупных произведениях. Герои их с различных позиций размышляют о том, что такое Россия, и размышления эти раскрывают пёстрый и сложный комплекс социальных и нравственных противостояний отдельных общественных групп» [2, с. 605].

Разумеется, задача углублённого познания России не могла решаться без обращения к опыту «чужого» мира. Редкий «толстый журнал» того времени не публиковал разного рода путевые очерки, этнографические циклы путевых заметок о жизни и быте разных народов. Вот неполный перечень материалов, опубликованных в журнале «Русская мысль» в 1908 г., свидетельствующий о буме подобной литературы: «Россия в Италии» М. Первухина (№ 3), «Письма из Польши» А. Погодина (№ 3), «Европеизация» Д. Протопопова (№ 4), «Духоборы за морем» Антона Щ. (№ 40), «Письма из Германии» К.Н. Соколова (№ 5), «На Иматре» Л.М. Василевского (№ 6), «Письмо из Польши» А.Л. Погодина (№ 6), «Поездка в Египет» М. Ростовцева (№ 6), «Современная Норвегия и страничка из её истории» О. Рудченко (№ 7), «Женщина в американских университетах» И. Рубинова (№ 7), «Парижские рассказы» Ю. Волина (№ 10), «Письма из Англии» С.И. Раппорта (№ 10), «Письмо из С.-А. Соединённых Штатов» П.А. Дементьева (№ 11), «По южным славянским странам» А. Стаховича (№ 11) и т. д.

«К концу XIX века, – отмечает Д.А. Завельская, – предметом описания в произведениях этнографической направленности становятся не только общественные явления, но в гораздо большей степени особенности культурной и природной среды» [3, с. 422].

Литературоведческой аксиомой давно стала мысль о том, что познание «своего» невозможно во всей полноте без постижения «чужого»; диалог с «другим» позволяет найти новые, скрытые смыслы в своём «слове» и в конечном счёте в тексте культуры. Ю.М. Лотман в статье «К построению теории взаимодействия культур (семиотический аспект)» выдвигает ряд положений, касающихся соотношения «своего» и «чужого» в культурах, размышляет о причинах

взаимодействия культур: «С одной стороны, нуждаясь в партнёре, культура постоянно создаёт собственными усилиями этого «чужого», носителя другого сознания, иначе кодирующего мир и тексты. Этот создаваемый в недрах культуры – в основном по контрасту с её собственными доминирующими кодами – образ экстерииризуется ею вовне и проецируется навне её лежащие культурные миры. Характерным примером могут служить этнографические описания европейцами «экзотических» культур (куда в определённые моменты истории попадает и русская) или описание Тацитом быта германцев. С другой стороны, введение внешних культурных структур во внутренний мир данной культуры подразумевает установление с нею общего языка, а это, в свою очередь, требует их интериоризации. Для того чтобы общаться с внешней культурой, культура должна интериоризировать её образ внутрь своего мира. Процесс этот неизбежно диалектически противоречив: внутренний образ внешней культуры обладает языком общения с культурным миром, в который он инкорпорирован» [4, с. 117].

Посмотрим, как отразился этот противоречивый процесс в художественно-документальном отражении Северной Америки в произведениях ведущего реалиста рубежа XIX – XX вв. – В.Г. Короленко<sup>1</sup>. В анализе мы опираемся на исследования рецепции Америки в русской культуре. Выделим, прежде всего, докторскую диссертацию А.А. Арустамовой «Тема Америки в русской литературе XIX века» (2010) [5] и книгу А. Эткинда «Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах» (2001) [6]<sup>2</sup>. В исследовании А.А. Арустамовой прослежена динамика воплощения темы Америки в русской литературе на протяжении столетия, показано, как в XIX веке в русской литературе представление о США качественно усложняется: появляются новые темы, мотивы, сюжетные ситуации, усложняется типология образов; уже выработанные в начале XIX в. комплекс идей и понятий, система оппозиций, образов, мотивно-тематические комплексы, сюжетные коллизии наполняются новым содержанием. Что особенно важно выделить, отношение к Америке двойственно.

«Диалог с США на протяжении XVIII – XX вв., – замечают А.А. Арустамова и Б.В. Кондаков, – являлся важной частью русской культуры; в процессе этого диалога формировалось национальное самосознание, анализировались перспективы исторического развития России. Авторы произведений, в которых воплощалась тема Америки, затрагивали многие общечеловеческие проблемы и отвечали на ключевые вопросы времени. Получая информацию об американской жизни, русский читатель имел возможность сопоставить социально-политические институты США и России, в том числе институты невольничества и крепостного права, что способствовало развитию русской общественной мысли. Русское самосознание в одних ситуациях притягивалось к Америке,

---

<sup>1</sup> Художественно-документальное осмысление Америки в творчестве В.Г. Короленко любопытно рассмотреть в контексте непосредственных предшественников и продолжателей темы («Американские рассказы» В.Г. Богораза, очерки Г.А. Мачтега, цикл очерков В. Дорошевича «Америка (Из моего путешествия по Соединённым Штатам)» в «Одесском листке», циклы М. Горького «В Америке» и «Мои интервью»), но этот аспект выходит за рамки нашей статьи.

<sup>2</sup> Книга А. Эткинда посвящена путешествиям за океан, реальным или вымышленным, в течение двух веков. Как отмечает автор, «сравнение этих двух стран, народов или национальных характеров настолько распространено, что интереснее следить не за тем, как оно попадало от одного автора к другому, но за тем, сколь разные функции оно выполняло у разных авторов» [6, с. 5].

в других – отталкивалось от неё. Для одних Америка оказывалась образцом для подражания, идеалом, чем-то вроде рая на земле и указывала направление, по которому должна развиваться Россия. Для других Америка была «проклятым местом» (аналогом ада) и определяла вектор направления, в котором России развиваться не нужно» [7, с. 111–112].

Эта двойственность на рубеже XIX – XX вв. обретает большую философскую направленность, сосредоточенность на индивидуально-личностном осмыслении судьбы человека на родине и на чужбине.

В начале XX в. предметом философско-публицистических размышлений русских писателей становится американизм и американский характер, рассмотренный сквозь призму популярных тогда концепций противостояния культуры и цивилизации. Так, В.В. Розанов рассуждал об отсутствии взаимного понимания европейцев и американцев. Если «европеизм» есть человечность, все европейские народы «имеют каждое тысячелетие свою национальную церковь, с неизмеримым и ежедневным её влиянием» [8, с. 164], то американское общество пронизано торгашеским духом. В этом контексте Россия виделась В.В. Розанову «в самом строгом смысле культурной страной» [8, с. 165]. Объясняя читателям религиозно-философского журнала «Новый путь»<sup>3</sup> смысл культурной истории России, В.В. Розанов писал: «Ибо дело не столько в том, как сделана икона, Рафаэлем или суздальцем, а в том, что с верой и надеждой на икону эту молились тысячу лет, молились души скорбные и угнетённые, каждая со своей надеждой, со своеобразными словами! Это и образует культуру, а не арифметика, которую можно выучить в год. Образуют культуру богатство духовного опыта, долголетность его, сложность его. Деревня может быть культурнее фабрики, ибо в ней есть песня, воспоминания-история, быт, семья, деды и внуки; чего всего нет на фабрике, состоящей единственно из рабочих и нанимателей. Школою мы уступаем едва ли не всем народам, и это есть вина наша, слабость наша, глупость наша. Но культурою, в смысле поэзии и мудрости, мы никому не уступаем – и наш былинник новгородский, или малороссийский бандурист, есть родной брат шотландскому барду, без всякой уступки, хотя, конечно, и без всякого самовозношения. Будем скромны. Но в скромности совершенно твёрдо признаём, что глубиною и тонкостью души мы никому решительно не уступаем. Что и отразилось, уже вторично и зависимо, в благородной нашей поэзии, литературе, в живописи, в музыке. Всё это – дети своего народа, отнюдь не отец его. Отец нашей литературы – народ, деревня. Янки ничего этого, не понимают, это им невозможно растолковать» [8, с. 165].

В конце статьи В.В. Розанов выразил парадоксальную (но совершенно понятную в рамках его мировоззрения!) мысль о том, что «американская нация есть вообще не мечтательная нация, а мечта родит и поэзию, и философию» [8, с. 165]. Последняя мысль В.В. Розанова, на наш взгляд, позволяет понять специфику художественного отражения Америки в текстах русских писателей.

В 1893 г. журнал «Русская мысль» командировал В.Г. Короленко в качестве корреспондента на всемирную выставку в Чикаго. Путешествие через Европу в Америку непосредственно отразилось в одном из самых известных его

<sup>3</sup> Цитируемая статья впервые была опубликована в № 2 за 1904 г.

художественных произведений – повести «Без языка», а также в разных автодокументальных текстах – переписке, записных книжках (большей частью не опубликованных при жизни писателя), путевых очерках, публицистике.

Американская тема в творчестве В.Г. Короленко привлекала к себе внимание историков литературы. Однако нельзя не согласиться с тем, что, например, образ простого крестьянина из Полесья Матвея Лозинского (из рассказа «Без языка») «в советские годы трактовался в ключе “разоблачения лживой буржуазной демократии”» [9, с. 481], что на самом деле, как будет показано далее, не совсем соответствует позиции автора, да и герою рассказа, «заблудившемуся среди грохота непонятной и чужой цивилизации» [9, с. 482]. Разоблачительные настроения близки лишь поначалу, но постепенно «великая американская земля» открывает и свои достоинства: умение ценить «человека с головой и руками», право «выбирать себе веру, кто как хочет», организованную солидарность людей труда [9, с. 482]. На самом деле образ Америки предстаёт в творчестве В.Г. Короленко более объёмным и неоднозначным, чем принято считать. Панорамные исследования рецепции Америки в русской литературе, как упомянутое исследование А.А. Арустамовой, не отражают эту многозначность. К тому же, на наш взгляд, важно привлечь в качестве материала исследования широкий комплекс источников, а также связь американской темы с позднейшей публицистикой писателя. При этом, разумеется, нельзя не учитывать и трагических жизненных событий, о которых писал В.Г. Короленко: «...Для меня лично эти американские впечатления омрачены тяжёлым горем: у меня умерла в моё отсутствие маленькая дочка, около 2-х лет, маленькое создание, исчезновение которого принесло мне и всем нам огромное горе» (ПСС, с. 9). Может быть, одной из причин незаконченности и неопубликованности путевых очерков В.Г. Короленко и стала не дававшая покоя память об этом трагическом событии<sup>4</sup>.

Письма, очерки, записные книжки В.Г. Короленко полны многообразных сравнений Америки с Россией. Попробуем в них вчитаться и отчасти их систематизировать. В.Г. Короленко, рефлексировав на тему путешествий, очень точно отмечал: «Путешествие – в настоящем и поучительном смысле этого слова – трудная и большая работа. Моя скромная задача – сделать собственные впечатления, далеко не систематические и часто случайные – хоть до известной степени впечатлениями читателя» (ПСС, с. 67–68). При этом следует учитывать ещё одно немаловажное обстоятельство: «Хранящийся в архиве дневник спутника Короленко С.Д. Протопопова подтверждает, что если сюжет повести («Без языка» – *К.В.*) выдуман, то все реалии американской жизни, увиденные волынским крестьянином, это картины, поразившие самого писателя. То есть Короленко решил удивительную задачу: наблюдения и впечатления он передал так, как будто это были впечатления неграмотного крестьянина. От этого они ещё более выиграла в яркости и убедительности. Но главное Короленко решал и частично решил основную для него задачу: показал резкое несоответствие точек зрения на мир крестьянина и интеллигента время понял, что эта ситуация не безнадежна и возможность обретения общего языка всё-таки существует»

---

<sup>4</sup> Впервые они появились в 18-м томе «Полного собрания сочинений (Посмертное издание)» в 1923 г., где центральное место занимает цикл «В Америку! (Впечатления и заметки русского туриста)».

[10, с. 85]. Это даёт нам возможность рассматривать рассказ и литературу факта как некий единый текст.

Первые впечатления, отражённые в незаконченном очерке «В Америку! (впечатления и заметки русского туриста)», скорее всего, носят общечеловеческий характер. Любое путешествие позволяет человеку почувствовать себя свободным («как птица, которая в эту минуту встряхнулась на ближней ветке, снялась с насиженного места и понеслась над вершинами деревьев» (ПСС, с. 15)), но в то же время «невольная грусть закрадывается в сердце <...> Зачем едешь ты на чужбину, что найдёшь там, на чужой стороне, что застанешь здесь, когда вернёшься!..» (ПСС, с. 15). Ещё находясь проездом в Лондоне, В.Г. Короленко мечтает о скором возвращении домой: «Не скажу, чтобы дальнейшая дорога в Америку меня не интересовала. Наоборот, а всё-таки чувствую, что я теперь не тот путешественник, каким был прежде: всё-таки тянет поскорее к вам, и чувства Натаки мне понятны: какой бы круг ни предстояло сделать по свету, всё-таки заглядываешь в конец и думаешь: а скоро ли я буду у них?» (СС10, с. 191). Уже перемещение по Европе (Финляндии) вызывает у В.Г. Короленко попутные размышления об «особой примете» русского человека, о «паспортном» чувстве, так отличающем русских от других народов: «Англичанин, например, в отечестве-ли, или на чужбине, есть прежде всего именно то, чем он себя именует. А если бы кому угодно было в его “личности” усомниться, то этот скептик обязан был бы обеспокоить себя представлением доказательств и оснований как для сомнений, так и для изъявления оных... Русский человек, наоборот, находится во всегдашней готовности доказывать свою подлинность, и недаром бумажка, заключающая в себе доказательства, называется нашим “видом”. Человек “без вида”! – Господи, Боже! – есть ли существо более несчастное и неполное. Человек “без вида” – да это гораздо хуже, чем известный герой немецкой сказки, у которого похитили его тень... Англичанин Том Джонс всегда останется Томом Джонсом, пока его душа держится в его теле. Но дворянин Иван Семёнович Пантелеев, потеряв из кармана третий элемент собственной личности, – превращается в именующего себя Иваном Семеновым Пантелеевым, и посмотрите сразу, как он изменился: он заискивающим тоном говорит с коридорным в гостинице, он потерял уверенность голоса и движений, и самая воля его значительно извратилась» (ПСС, с. 17).

Эта тема осознания национального на фоне европейских и американских реалий станет постоянной во всех текстах В.Г. Короленко. На эту тему Короленко даже рефлексировал: «Мы, русские, к какому бы сословию, классу, направлению ни принадлежали – въезжаем в первый раз за границу с особенным чувством. Пусть это будет наивное доверие к западу или, наоборот, кичливое “патриотическое” пренебрежение, – но всегда в первом взгляде нашем на свободную Европу читается один и тот же вопрос. “Ну, что же у вас тут лучше нашего? У вас тут свобода, конституция или республика... Что же, нет у вас голода, нищеты и порока?..” И сколько бы мы ни читали, ни думали об этих вопросах раньше, сколько бы ни смеялись над наивными ожиданиями земного рая, – но всё-таки всякий раз эти яркие фигуры “европейских” нищих отпечатываются в нашем взгляде с такой яркостью и силой, с какой никогда не воспринимали мы их у себя на родине <...> “Всё то же”. Это неизбежная прелюдия для дальнейших

впечатлений за границей... После приходится замечать различия, оттенки, производить сравнения и количественные учёты. После вспоминаешь, что то же может быть не так, и не в такой степени, после поймёшь, что закон жизни есть вечное стремление и что вопрос не в том, кто достиг уже всего, а только в том, кто сильнее стремится и кто большего достигает» (ПСС, с. 36).

В письме к жене из Лондона он сообщает о незнании местных обычаев: вместе с переводчиком С.М. Кравчинским (Степняком) они сильно проголодались, не зная, что в воскресенье все лавки, кабачки, трактиры и рестораны закрыты. Предложение квартирной хозяйки воспитывать русских детей в английских семьях рождает в письме сложное чувство: с одной стороны, лёгкой зависти («здесь воспитывают отлично: я посмотрел этих красивых девушек, учившихся в английских школах, мальчишек, румяных и крепких, и что главное – бодрых, весёлых, живых, с отличной мускулатурой и физической выправкой, – и мне стало немного завидно» (СС10, с. 187)), с другой стороны, выражается чувство опасения за судьбу русского языка: «Дети русских родителей здесь стали совершенными англичанами, мальчишки – ни слова по-русски, девушки (много старше) – говорят, с сильнейшим акцентом и при этом смеются: родной язык им смешон и дик! <...> Но мне страшно подумать, что моим детям был бы непонятен мой язык, а за ним и мои понятия, мечты, стремления! Моя любовь к своей бедной природе, к своему чумазому и рабскому, но родному народу, к своей соломенной деревне, к своей стране, которой хорошо ли, плохо ли – служишь сам. В детях – хочется видеть продолжение себя, продолжение того, о чём мечтал и думал с тех пор, как начал мечтать и думать – и для них хочется своего родного счастья, которое манило самого тебя, а если – горя, то опять такого, какое знаешь, поймёшь и разделишь сам! А тут – miss с английским языком и манерами. Я думаю, это очень тяжело, это настоящая трагедия отцов и детей. Да и вообще очень много трагического в этой “России за границей”» (СС10, с. 188). Но вот он вспоминает один характерный рассказ одного русского человека в Америке, национальность которого чиновник почтамта узнал по тому, как тот наклеивал марки на конверте, боясь, что прочитают его письмо. Такая мелочь показывает, как «уверенность в обиходной честности развивается вместе с культурой» (СС10, с. 20–21).

Путь в Америку лежит через океан. И сам В.Г. Короленко, и герой повести, оказавшись на корабле в океане, испытывают возвышенное чувство, сопряжённое со страхом: «И всё-таки – 8 суток в океане! На всём протяжении огромного пути (3200 миль) – ни одного острова... От берегов Ирландии до Америки – ни клочка земли, и далёкий парус на горизонте или полоска дыма над океаном – составляют целое событие. Восемь дней – только колеблющаяся зыбь и небо... Какое-нибудь столкновение среди ночной темноты, или в бурю – лопнула цепь, сломалась машина, взорвало котёл, пьяный пассажир не затушил перед сном папиросу... И никто, быть может, не узнает во всём божием мире – где именно и что именно случилось с несколькими сотнями людей, вступивших на борт кюнардовского парохода в Англии, но не высадившихся в своё время в Америке... И невольно кажется, что смерть страшнее на этом грандиозном просторе. Описание редкой гибели корабля среди океана покрывает для нас тысячи мелких и крупных речных крушений, совершающихся чуть ли не ежедневно. <...> Теперь

штиль не останавливает уже моряка над неподвижною и мёртвою гладью, а буря не гонит его на неведомые скалы, – и однако человек инстинктивно боится океана» (ПСС, с. 68–69).

Не столь рационально, как автор в путевых записях, это состояние испытывает и Матвей Лозинский: «Вода около корабля светилась, в воде тихо ходили бледные огни, вспыхивая, угасая, выплывая на поверхность, уходя опять в таинственную и страшную глубь... И казалось Матвею, что всё это живое: и ход корабля, и жалобный гул, и грохот волны, и движение океана, и таинственное молчание неба. Он глядел в глубину, и ему казалось, что на него тоже кто-то глядит оттуда. Кто-то неизвестный, кто-то удивлённый, кто-то испуганный и недовольный... От века веков море идёт своим ходом, от века встанут и падают волны, от века поёт море свою собственную песню, непонятную человеческому уху, и от века в глубине идёт своя собственная жизнь, которой мы не знаем. И вот, теперь в эту вековечную гармонию, в это живое движение вмешался дерзкий и правильный ход корабля... И песня моря дрогнула и изменилась, и волны разрезаны и сбиты, и кто-то в глубине со страхом прислушивается к этому ходу непонятого чудовища из другого, непонятого мира. Конечно, Лозинский не мог бы рассказать всё это такими словами, но он чувствовал испуг перед тайной морской глубины. И казалось Лозинскому, что вот он смотрит со страхом сверху, а на него с таким же ужасом кто-то смотрит снизу. Смотрит и сердится, и посылает своих посланцев с огнями, которые выплывают наверх и ходят взад и вперёд, и узнают что-то, и о чём-то тихо советуются друг с другом, и всё-таки печально уходят в безвестную пучину, ничего не понимая... А корабль все бежит неудержимым бегом к своей собственной цели» (СС4, с. 17–18).

Герою повести, простому крестьянину, под воздействием океана, приходят в голову «такие мысли, которые никогда не заходили в голову ни в Лозищах, когда он шёл за сохой, ни на ярмарке в местечке, ни даже в церкви» (СС4, с. 18). Используя приём временной проспекции, В.Г. Короленко замечает: «А впрочем, он говорил после и сам, что никогда не забудет моря. “Человек много думает на море разного, – сказал он мне, – разное думает о себе и о боге, о земле и о небе... Разное думается человеку на океане – о жизни, мой господин, и о смерти...” И по глазам его было видно, что какой-то огонёк хочет выбиться на поверхность из безвестной глубины этой простой и тёмной души... Значит, что-то всё-таки осталось в этой душе от моря» (СС4, с. 18).

Можно вспомнить, как трактовал возвышенное Псевдо-Лонгин: «...природа никогда не определяла нам, людям, быть ничтожными существами, – нет, она вводит нас в жизнь и во вселенную как не на какое-то торжество, а чтобы мы были зрителями всей её целостности и почтительными её ревнителями, она сразу и навсегда вселила нам в душу неистребимую любовь ко всему великому, потому что оно более божественно, чем мы» [11, с. 64–65].

Через категорию *возвышенного* можно объяснить и открытие В.Г. Короленко Америки. Воспринимая возвышенное в природе и обществе, человек испытывает как восторг, удивление, так чувство страха. Например, в письме к жене А.С. Короленко передано восхищение индустриальным величием Америки, непохожестью её архитектуры в сравнении с европейской: «Сегодня мы весь день ходили по Нью-Йорку и отчасти – Бруклину, видели величайший

в мире мост, соединяющий эти два города, любовались ещё раз статуей свободы, в руку которой можно входить по лестнице внутри, – проехали немало и в омнибусах и по железным дорогам, проложенным над улицами. Едешь вниз, а над головой идут поезда. Нью-Йорк не похож ни на один из городов, виденных нами до сих пор. В постройках есть что-то напоминающее Англию и Лондон, но здесь эта саксонская архитектура как будто вырвалась на простор. Дома светлее, веселее, разнообразнее. В Лондоне – они огромны, до 13 этажей. Но все эти серые закопченные дымом великаны сомкнулись плотно в одну массу и приблизительно все одного роста. Здесь то и дело видишь дома в 15, 16, даже в 17 этажей, узкой башней подымающиеся над 5-ти и 6-тиэтажными, которые перед ними кажутся просто небольшими лачугами. Мы приехали в воскресенье: как и в Лондоне по воскресеньям здесь тихо, лавки закрыты и движения очень мало; и только одни машины свистят и гремят, развозя поезда под землёй, на земле, но больше всего – по воздуху, над головами... И весь воздух полон их свистом и грохотом» (СС10, с. 193–194).

Такое же впечатление производит Ниагарский водопад, ведь и природа здесь «прониклась тревогой и беспокойной энергией человека» (ПСС, с. 78): «Гул, продолжительный и глубокий, простор и зрелище величавой катастрофы. Тревожный бег как будто замедлился, уклон как будто стал спокойнее, но всё равно, – уже ничто не спасёт обречённую реку. Тихо, торжественно, как осуждённый проходит по ступеням эшафота, протекает река последние сажени по своему каменистому руслу, и прямо за островком, вздрагивая, выгибается и внезапно валится под прямым углом в пропасть. Сколько времени стоит водопад? Сколько веков длится эта катастрофа, сколько тысячелетий вздрагивают окрестные скалы от этого тревожного непрерывного, немолчного грохота? Я стоял над обрывом, невольно сжимая в руке жердочку берегового парапета, и глаза мои жадно ловили эту величавую картину...» (ПСС, с. 81).

В первых картинах Америки, увиденных глазами крестьянина Матвея Лозинского, преобладает ощущение страха: «Матвей посмотрел вперёд. А там, возвышаясь над самыми высокими мачтами самых больших кораблей, стояла огромная фигура женщины, с поднятой рукой. В руке у неё был факел, который она протягивала навстречу тем, кто подходит по заливу из Европы к великой американской земле.

Пароход шёл тихо, среди других пароходов, сновавших, точно водяные жуки, по заливу. Солнце село, а город всё выплывал и выплывал навстречу, дома вырастали, огоньки зажигались рядами и в беспорядке дрожали в воде, двигались и перекрещивались внизу, и стояли высоко в небе. Небо темнело, но на нём ясно ещё рисовалась высоко в воздухе тонкая сетка огромного, невиданного моста.

Исполинские дома в шесть и семь этажей ютились внизу, под мостом, по берегу; фабричные трубы не могли достать до моста своим дымом. Он повис над водой, с берега на берег, и огромные пароходы пробегали под ним, как ничтожные лодочки, потому что это самый большой мост во всём божьем свете... Это было направо, а налево уже совсем близко высилась фигура женщины, – и во лбу её, ещё споря с последними лучами угасавшей в небе зари, загоралась золотая диадема, и венки огоньков светился в высоко поднятой руке...

А сердце Лозинского трепетало и сжималось от ужаса. Только теперь он понял, что такое эта Америка, на берегу которой он думал встретить Лозинскую. Он ждал, что она будет сидеть тут где-то со своим узелком. “Боже мой, боже мой, – думал Матвей. – Да здесь человек, как иголка в траве, или капля воды, упавшая в море...” Пароход шёл уже часа два в виду земли, в виду построек и пристаней, а город всё развёртывал над заливом новые ряды улиц, домов и огней... И с берега, сквозь шум машины, несло рокотание и гул. Казалось, кто-то дышит, огромный и усталый, то опять кто-то жалуется и сердится, то кто-то ворочается и стонет... и опять только гудит и катится, как ветер в степи, то опять говорит смешанными голосами» (СС4, с. 26–27).

Передавая мысли и чувства неграмотного крестьянина, В.Г. Короленко прибегает к приёму остранения, описывая ситуацию «как в первый раз виденную, а случай – как в первый раз происшедший, причём он употребляет в описании вещи не те названия её частей, которые приняты, а описывает их так, как называются соответственные части в других вещах» [12, с. 64].

Так воспринимается статуя Свободы или трактор: «Но то, что он здесь увидел, облило кровью его сердце. Это был кусок плоского поля, десятин в 15, огороженного не плетнем, не тыном, не жердями, а железной проволокой с колючками. На одном краю этого поля дымилась труба завода, закопчённого и чёрного. На другом стоял локомотив – красивая и сверкающая машина на колёсах. Маховое колесо быстро вертелось, суетливо стучали поршни, белый пар вырывался тоненькой, хлопотливой и прерывистой струйкой. Тут же, мерно волнуясь, плыл в воздухе приводный канат. Проследив его глазом, Матвей увидел, что с другого конца пашни, как животное, сердито взрывая землю, ползёт железная машина и грызёт, и роет, и отваливает широкую борозду чернозёма. Матвей перекрестился. Всякое дыхание да хвалит господу! На что же теперь может пригодиться в этой стороне деревенский человек, вот такой пахарь, как Матвей Лозинский, на что нужна умная лошадь, почтенный вол, твёрдая рука, верный глаз и сноровка? И что же он станет делать в этой стороне, если здесь так пахнут землю?» (СС4, с. 85).

Герой повести неоднократно испытывает ужас и страх, соединённые со скромностью, боязнью оказаться смешным, но когда он видит, что американцы не «пялят» на них глаз, никто не усмехается, то немного успокаивается.

Постоянный мотив, через который В.Г. Короленко передаёт взгляд Матвея Лозинского на «чужой» мир, это контраст природного и культурного. Поражённый технической мощью Америки, герой воспринимает их через привычные и близкие ему образы природы: «Поезда ещё не было. Платформа была вровень с третьими этажами домов. Внизу шли люди, ехали большие фургоны, проходили, позванивая, вагоны конно-железной дороги; вверху, по синему небу плыли облака, белые, светлые, совсем, как наши. “Вот, – думал Матвей, – полетит это облако над землёй, над морем, пронесётся над Лозищами, заглянет в светлую воду Лозовой речки, увидит лозищанские дома, и поле, и людей, которые едут в поле и с поля, как бог велел, в пароконных телегах и с дробинами. Подумает ли кто-нибудь в Лозищах, что двое лозищан стоят в эту минуту в чужом городе, где над ними сейчас издевались, точно они не христиане и приехали сюда

на посмешище... Стоят ни на земле, ни на горе и собираются лететь по воздуху в какой-то машине» (СС4, с. 32–33).

Всё более и более удаляясь от Нью-Йорка, герой видит, что города становились меньше и проще и по мере того, как больше и ближе ему открывалась природа, как «в окна врывается вольный ветер полей и лесов», «душа оскорблённого и загнанного человека начинала как будто таять» (СС4, с. 116). Матвей Лозинский созерцает картины, привычные и близкие его образу жизни и его сознанию: «В одном месте он чуть не до половины высунулся из окна, провожая взглядом быстро промелькнувшую пашню, на которой мужчины и женщины вязали снопы пшеницы. В другом, опершись на сапы и кирки, смотрели на пробегающий поезд крепкие, загорелые люди, корчевавшие пни поваленного леса. Матвею была знакома эта работа – и ему хотелось бы выскочить из вагона, взять в руки топор или кирку и показать этим людям, что он, Матвей Лозинский, может сделать с самым здоровым пнищем» (СС4, с. 116).

Именно в этот момент Лозинский чувствовал, что и «ему нашлось бы место в этой жизни, если бы он не отвернулся сразу от этой страны, от её людей, от её города, если бы он оказал более внимания к её языку и обычаю» (СС4, с. 116).

А в очерке «Русские на Чикагском перекрёстке», передавая впечатления о чикагской выставке, В.Г. Короленко замечает, что «природа ночи исчезла, был только искусственный свет, камень, суета, теснота и грохот» (ПСС, с. 93). Но по мере того, как попутчики (русские) приближаются к окраине города, «становилось несколько тише и угадывалось, что там где-то в далёком божьем мире стоит ночь, просторная, широкая, задумчивая, безграничная и таинственная» (ПСС, с. 93). Особенное потрясение испытывают попутчики, когда видят луну: «уличные фонари, освещённые окна, подъезды, световые объявления, и среди всего этого, точно действительно большая лампа – висела склонившаяся к закату луна» (ПСС, с. 96). Вспоминается невольно, как примерно в это время один из основателей русского символизма (и первооткрывателей образа города в русской поэзии) Валерий Брюсов переосмысливал образ луны в урбанистических стихотворениях «Творчество», «Конь блед»: *Лили свет безжалостный прикованные луны, / Луны, сотворённые владыками естеств. / В этом свете, в этом гуле – души были юны, / Души опьяневших, пьяных городом существ* (Б1, с. 209).

В письмах В.Г. Короленко, разумеется, преобладает «интеллигентская» точка зрения. Как писатель и публицист В.Г. Короленко обращает внимание на хлёсткие заглавия американских газет (правда, вскоре, в начале XX в. они появятся и в России), он сообщает жене о том, что пишут американские газеты о России. Например, приводит с негодованием суждение сенатора Эдмондса, что «русская нация недостойна учреждений и вообще, – что ей достаточен и деспотизм. Хороша русско-американская дружба, с такими соображениями!» (СС10, с. 195).

Последнее мнение позволяет видеть в текстах В.Г. Короленко не просто этнографические путевые очерки, а глубокие размышления о двух образах мира – русском и американском, содержащие оценку темпов технического прогресса, идеалов свободы, уважения к личности, отношение к прагматизму, индивидуализму. Отношение В.Г. Короленко к Америке амбивалентно. С одной стороны,

характерно такое признание, выраженное в письме к жене: «Бог с ними, с Европами и Американами! Пусть себе процветают на здоровье, а у нас лучше <...> Лучше русского человека, ей-богу, нет человека на свете» (СС10, с. 197). А в письме к Э.Л. Улановской, отправленном тотчас по возвращении из-за границы в Нижний Новгород, В.Г. Короленко писал: «Плохо русскому человеку на чужбине, и, пожалуй, хуже всего в Америке. Хороша-то она хороша и похвального много, – да не по нашему всё» (ПСС, с. 8). (Нужно учесть и печальный контекст этого времени, а также типичность подобного рода высказываний для любого путешествующего, в конце концов, мечтающего страстно вернуться на родину.) Поэтому писатель не сомневается в том, что если бы предложили жить в Америке или в Якутской области, он бы выбрал последнее. С другой стороны, это «удивительная страна!» (ПСС, с. 86).

Неоднократно в путевых заметках изображаются своего рода идеологические диалоги. В очерке «Русские на Чикагском перекрёстке» дан диалог встретившихся на чужбине русских, один из которых охарактеризован как человек желчный, «по обычаю почти всех русских, – отзывался об Америке и американцах с большой горечью» (ПСС, с. 91). Они говорили о России, «о её небольших городках, широких полях, степных дорогах, об её народе, неторопливом и добродушном» (ПСС, с. 91). Один из участников диалога называет американцев чёрствым народом, однако их разговор приходит к такому неожиданному заключению: тоска русских на чужбине – это тоска по справедливости, которой нет на родине («И там, где нет справедливости, нельзя говорить о любви» (ПСС, с. 92)).

Герой повести «Без языка» знакомится с эмигрантами-евреями и поляками. «Все они вместе решают одну проблему: принять ли новую культуру или сохранить свою собственную. Крестьянин Матвей Лозинский, естественно, стоит за строгое соблюдение собственных правил, нравов и обычаев и не принимает тех, кто изменяет им. Но этот твёрдокаменный традиционализм всё-таки дал трещину. В Америке мало свободы, но есть условия, чтобы ростки свободы не погибли. В России таких условий пока нет. Америка для русского крестьянина – это страна, где могут встретиться интеллигент и крестьянин и, наконец, понять друг на друга, обрести «общий язык», которого у них не было на родине» [10, с. 90]. Так раскрывается один из символических подтекстов повести и её заглавия – «Без языка».

Увиденное в Америке глубоко запечатлелось в творческой памяти В.Г. Короленко и потом неоднократно «всплывало» в самых разных обстоятельствах, контекстах, трансформируясь и в художественные образы, и в публицистические рассуждения.

К американской теме В.Г. Короленко обращался не раз в дореволюционной публицистике. В 1916 г. он публикует фельетон «Мнение американца Джаксона о еврейском вопросе», где вспоминает своё путешествие по Атлантике и одного надменного американца. Здесь в фельетонном ракурсе представлены образы американцев, «хваленых сынов заатлантической республики» (НК, с. 140). Отношение к еврейскому вопросу становится для В.Г. Короленко поводом для размышлений о правах человека. Итоговый вывод этого фельетона навеян идеологической беседой в далёком 1893 г.: «Любовь, как Благодать, веет иде же хочет. Справедливость обязательна, как воздух для дыхания» (НК, с. 143–144).

Американскую поездку он вспоминает и в статье «Американский судья о русской полиции», где включается в полемику между газетами «Русские ведомости», «Киевская мысль» и другими периодическими изданиями по поводу репортёрской заметки «Что мы, в России, что ли», опубликованной в чикагской газете “Tribune” (речь шла о реплике американского судьи, воскликнувшего из-за грубости местной полиции нравов: «Да что же это: в России что ли?») (НК, с. 161)). В.Г. Короленко-публицист вовсе не идёт по пути обязательного патристического восхваления существующих российских порядков. Он считает, что русские писатели в этом не могут быть едины. Сравнивая состояние прав человека в России и Америке, он делает выбор в пользу Америки. Приводя жуткие эпизоды из своего публицистического опыта, как полиция расправлялась со смиренным обывателем, он задаётся вопросом, и сам же на него отвечает: «Возможно ли что-нибудь подобное в Америке? Не думаю, чтобы и там не было подобных зверей, но всё-таки ничего подобного там невозможно. Прежде всего, невозможно ворваться подобным образом в дом американца ночью. Во-вторых, там полиция не считается при исполнении обязанностей во всякое время. <...> Одним словом, нет сомнения, что в России возможно ещё многое, что совершенно уже невозможно в Америке» (НК, с. 165).

В написанных незадолго до смерти «Письмах к Луначарскому» тема Америки и сопоставление российских и американских порядков, разных культурных традиций возникает неоднократно. В «Письме втором» он вспоминает, как в 1893 г посетил всемирную выставку в Чикаго и как после выставки вспыхнули крупные волнения, вызванные наступившей безработицей<sup>5</sup>. Он приводит слова соотечественника, русского еврея: «Надо было бы им всем сначала сговориться, а сюда прийти с одним выводом. Вот тогда был бы толк» (33, с. 142). Но мистер Стон, тоже русский по происхождению, марксист, говорит, что организовать сразу хозяйство огромной страны на социалистических началах совершенно невозможно: «Это легко устраивается только на бумаге, в “Утопиях”. Но мы, марксисты, отлично понимаем, что нам придётся иметь дело не с людьми, сразу превратившимися в ангелов, а с миллионами отдельных, скажем даже, здоровых эгоизмов, для примирения которых потребуются трудная выработка и душ и переходных учреждений... Америка даёт для этого отличную свободную почву, но пока и только» (33, с. 143–144).

В «Письме третьем» он снова обращается к параллели (Россия и Америка, а также Европа): «Над Россией ход исторических судеб совершил волшебную и очень злую шутку. В миллионах русских голов в каких-нибудь два-три года повернулся внезапно какой-то логический винтик, и от слепого преклонения перед самодержавием, от полного равнодушия к политике наш народ сразу перешёл к ... коммунизму, по крайней мере, к коммунальному правительству. Нравы остались прежние, привычки и уклад жизни тоже» (33, с. 150).

Обращаясь к Луначарскому, В.Г. Короленко отстаивает положительное значение слова *буржуа*: «Почему же теперь иностранное слово “буржуа” – целое огромное и сложное понятие – с вашей лёгкой руки превратилось в глазах

---

<sup>5</sup> В художественно-трансформированном виде эти впечатления скорее всего отразились и в повести «Без языка».

нашего тёмного народа... в упрощённое представление о буржуе, исключительно тунеядце, грабителе...?» (33, с. 153).

В «Письме четвёртом» В.Г. Короленко предрекает, что «европейский пролетариат за вами не пошёл и его настроение в массе является настроением того американского социалиста Стона, мнение которого я приводил во втором письме» (33, с. 156).

«При переходе к этому будущему от настоящего не всё подлежит уничтожению и разгрому. Такие вещи, как свобода мысли, собраний, слова и печати для них не простые “буржуазные предрассудки”, а необходимые орудия дальнейшего будущего, своего рода палладиум, который человечество добыло путём долгой и небесплодной борьбы и прогресса. Только мы, никогда не знавшие вполне этих свобод и не научившиеся пользоваться ими совместно с народом, объявляем их “буржуазными предрассудком”, лишь тормозящим дело справедливости. Это огромная ваша ошибка, ещё и ещё раз напоминающая славянофильский миф о нашем “народе-богоносце” и ещё более нашу национальную сказку об Иванушке, который без наук все науки превзошёл и которому всё удаётся без труда, по щучьему велению» (33, с. 156–157).

По мысли В.Г. Короленко, «любить народ надо не слепо, как среду, удобную тех или других экспериментов, а таким, каков он есть в действительности» (33, с. 159).

И снова в письме появляется аргумент из американских впечатлений: «Когда я путешествовал по Америке, например, я с удовольствием думал о том, что у нас невозможны такие суды Линча, какой около того времени разыгрался в одном из южных штатов: негр изнасиловал белую девушку и, чтобы скрыть преступление, убил её. Население городка устроило [законный] суд и сожгло его живым на костре. <...> Я думаю, что даже и теперь, во время величайшего озверения, у нас подобное явление невозможно. Славянская натура нашего народа мягче англосаксонской!» (33, с. 160).

И всё же писатель, много поживший и хорошо знающий Россию и русские порядки, горестно констатирует, что «в Америке нравственная культура гораздо выше» (33, с. 160). Это была выстраданная писателем позиция. Ещё в годы первой русской революции, после манифеста 17 октября 1905 г., он столкнулся с проявлениями массовой психологии, выразившимися в погромах в городах и деревнях, писал Н. Анненскому: «Какая тут к чёрту республика! Выработать в народе привычки элементарной гражданственности и самоуправления – огромная работа и надолго» (цит. по [13, с. 144–145]). В теме национальной самокритики В.Г. Короленко был не одинок, с ним были солидарны М. Горький и И.А. Бунин. Примерно в это же время М. Горький в забытой ныне статье «О гражданском воспитании» (1918) писал: «У нас всегда сколько угодно “ориентаций”, но нет только самой лучшей – ориентации на самого себя, на свои силы. Гражданин западных государств, наоборот, привык ориентироваться именно на себя самого и, начав эту ориентацию борьбой с феодалами, превосходно закончил её Великой Революцией. Наше городское гражданство выступило на поле политической борьбы только однажды в Смутное время и, одолев бесчисленные скопища врагов, немедленно уступило свои законные

права и обязанности земельному дворянству, расшатанному, изуродованному “разрухой”» (МГ, с. 273).

Сегодня, спустя почти 100 лет после появления «Писем к Луначарскому» (запрещённых в советскую эпоху) сказанное на склоне жизни выдающимся писателем не потеряло, к сожалению, своей актуальности и звучит нелестно для национального самосознания: «Случай с негром – явление настолько исключительное, что эта исключительность и вызвала такой зверский суд толпы. В обычное же время, в среднем, молоденькая девушка может безопасно путешествовать по всей стране, охраняемая твёрдостью общественных нравов. Можно ли то же сказать о наших нравах? У нас такая путешественница может на всяком шагу попасть в сети общей нашей распущенности и развращённости. По натуре, по природным задаткам наш народ не уступает лучшим народам мира, и это заставляет любить его. Но он далеко отстал в воспитании нравственной культуры. У него нет того самоуважения, которое воздерживаться от известных поступков, даже когда этого никто не узнает. Это надо признать, и надо вывести из этого необходимые следствия. Нам надо пройти ещё довольно долгую и суровую школу. <...> Из одного и того же вещества углерода получаются и чудные кристаллы алмаза и аморфный уголь. Значит, есть какая-то разница во внутреннем строении самих атомов. То же нужно сказать и о человеческих атомах, из которых составляется общество: не всякую форму можно немедленно кристаллизовать из данного общества. Во многих городах Швейцарии уже теперь вы можете безопасно оставить любую вещь на бульваре, и, вернувшись, застаёте её на том же месте. А у нас – будем говорить прямо» (33, с. 161). И осознать это, и убедительно объяснить читателю помогли В.Г. Короленко, в том числе, и давние американские впечатления.

### Summary

*V.N. Krylov. Dialogue between the Native and the Foreign in the American Impressions of V.G. Korolenko.*

The paper is devoted to the analysis of various artistic, documentary, and publicistic works of V.G. Korolenko, which are united by the American theme. The materials used are the writer's texts (travel notes, articles, and correspondence), both published and unpublished during his lifetime. The analysis allows us to see that V.G. Korolenko's texts are not just ethnographic travel essays. They are rather his deep thoughts about the two images of the world – Russian and American, containing assessment of the pace of technological progress, ideals of freedom, respect for the individual, as well as attitude towards pragmatism and individualism. The writer's characters of the *foreign* world are perceived through the use of natural and cultural contrasts. In his works, V.G. Korolenko brought up an important topic of national awareness based on the European and American realities. Overall, the study shows that the image of America appears in the works of V.G. Korolenko as more voluminous and ambiguous than it is generally assumed for the representative of critical realism. It is concluded that the impressions of the trip to the exhibition held in Chicago in 1893 turned out to be the basis for the subsequent literary art of V.G. Korolenko up to the end of his life.

**Keywords:** dialogue, national, travel note, Russia, America, V.G. Korolenko, freedom, justice.

### Источники

- СП – Бунин *И.А.* Стихотворения и переводы. – М.: Современник, 1985. – 527 с.  
 ПСС – *Короленко В.Г.* Полн. собр. соч. Посмертное издание. Неизданные произведения. – Харьков: Гос. изд-во Украины, 1923. – Т. XVIII. – 167 с.  
 СС10 – *Короленко В.Г.* Собр. соч.: в 10 т. – М.: Гос. изд-во худож. лит., 1956. – Т. 10: Письма 1879–1921. – 717 с.  
 СС4 – *Короленко В.Г.* Собр. соч.: в 6 т. – М.: Правда, 1971. – Т. 4. – 398 с.  
 Б1 – *Брюсов В.Я.* Сочинения: в 2 т. – М.: Худож. лит., 1987. – Т. 1. – 575 с.  
 НК – Неизданный *В.Г. Короленко*: в 3 т. – М.: Пашков дом, 2011. – Т. 1: Публицистика. 1914–1916. – 352 с.  
 ЗЗ – *Короленко В.Г.* Земли! Земли! – М.: Сов. писатель, 1991. – 224 с.  
 МГ – *Горький М.* О гражданском воспитании // Вопр. лит. – 1990. – № 4. – С. 272–275.

### Литература

1. *Колобаева Л.А.* Концепция личности в русской литературе рубежа XIX – XX вв. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 336 с.
2. *Сливицкая О.В.* Реалистическая проза 1910-х годов // История русской литературы: в 4 т. – Л.: Наука, 1983. – Т. 4. – С. 603–634.
3. *Завельская Д.А.* Очерк // Поэтика русской литературы конца XIX – начала XX века. Динамика жанра. Общие проблемы. Проза. – М.: ИМЛИ РАН, 2009. – С. 397–436.
4. *Лотман Ю.М.* Избранные статьи: в 3 т. – Таллинн: Александра, 1992. – Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. – 479 с.
5. *Арустамова А.А.* Тема Америки в русской литературе XIX века: Автореф. дис ... д-ра филол. наук. – Пермь, 2010. – 44 с.
6. *Эткинд А.* Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. – М.: Нов. лит. обозрение, 2001. – 496 с.
7. *Арустамова А.А., Кондаков Б.В.* Константа «Америка» в русской литературе XIX века // Вестн. Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. – 2010. – Вып. 5 (11). – С. 111–120.
8. *Розанов В.В.* О писательстве и писателях. – М.: Республика, 1995. – 734 с.
9. *Петрова М.Г.* Владимир Короленко // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). – М.: Наследие, 2000. – Кн. 1. – С. 457–504.
10. *Савельева Е.Г.* Американские впечатления *В.Г. Короленко* и повесть «Без языка» // Вестн. С.-Петерб. гос. ун-та. Сер. 2. – 1998. – Вып. 1. – № 2. – С. 85–90.
11. О возвышенном. – М.; Л.: Наука, 1966. – 149 с.
12. *Шкловский В.Б.* Гамбургский счёт. – М.: Сов. писатель, 1990. – 544 с.
13. *Басинский П.* Логика гуманизма. Об истоках трагедии *Максима Горького* // Вопр. лит. – 1991. – № 1. – С. 129–154.

Поступила в редакцию  
31.10.14

---

**Крылов Вячеслав Николаевич** – доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы и методики преподавания, Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия.

E-mail: [krylov77@list.ru](mailto:krylov77@list.ru)